

Акад. А. БЕЛЕЦКИЙ

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Современникам А. П. Чехова многое было неясно и в личности художника, и в его творчестве. Критическая литература о Чехове 90—900-х годов велика, но содержанием не богата. И народнические критики, и либералы-позитивисты, и «борцы за идеализм» типа А. Волынского — все сходились на признании чеховской «талантливости», все (за исключением двух-трех хулителей) понимали, что Чехова нельзя «отвергнуть», и все в то же время не решались его без оговорок принять. Некоторый трафаретный образ Чехова, в конце концов, все же был создан. Он хорошо памятен: Чехов — «жертва безвременья», писатель «без идеалов», который с одинаковым хладнокровием направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу (Н. К. Михайловский), а в конечном счете — «писателя-пессимиста». Иные, впрочем, вносили поправки: чтение Чехова приводит к отчаянию, но отчаяние это благотворно, оно внушает отвращение к пошлости, раскрывает гнусность мешанского благополучия, ведет к «тоске по хорошей жизни», которая наступит непременно, хотя бы через двести-триста лет.

Советское литературоведение, впервые поставив вопрос о серьезном изучении творчества Чехова, радикально изменил этот установившийся ложный взгляд. Прежде всего был зачеркнут знак равенства между автором и его персонажами. «Поэт интеллигентов-нытиков» оказался при ближайшем рассмотрении разоблачителем бездеятельной и дряблой интеллигенции. Там, где видели раньше индифферентизм и нейтральность, расслышали теперь глухой рокот нарастающей революционной бури. Стало очевидно, что тот, кого в конце XIX века называли «талантливым беллетристом», в действительности один из великих художников не только русской, но и мировой литературы. Современники Чехова не могли наблюдать того, что увидели мы: факта живейшего интереса к Чехову миллионов советских читателей и зрителей, его постоянной, непрерывающейся связи с нашей действительностью; с другой стороны — напряженного внимания к творчеству Чехова зрителей и читателей зарубежных — от Англии и Америки до Турции и Японии. Нельзя было пройти мимо несомненного и большого влияния Чехова на художественную литературу Запада от Б. Шоу и Пристли до романистов и новеллистов разных стран мира. В истории русской литературы место Чехова определилось в ряду великих наших классиков XIX в. — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого. Вместе с ними Чехов — одно из священных имен в истории нашей национальной культуры.

Начато внимательное изучение чеховских текстов, творческой истории отдельных произведений, деталей чеховской биографии. Успехи, достигнутые в результате работ С. Балухутаго, А. Дермана, Ю. Соболева, А. Эйгеса и многих других, несомненны: сделано уже немало; но много еще предстоит сделать — прежде всего надо раскрыть полностью сущность чеховского искусства и определить творчество Чехова, как звено в общей цепи литературного процесса XIX—XX вв., в окружении предшественников, современников и последователей.

В самом деле, что знаем мы о Чехове-художнике? Об этом писали: итоги и выжимки специальных работ можно найти в школьных учебниках и программах. Чехов, во-первых, читаем мы там, — крупнейший русский реалист. Верно: этим все сказано и в то же время ничего не сказано, ибо история нашей литературы XIX в. таких деятелей знает не мало. Не вносит большой ясности и указание на то, что в Чехове соединились будто бы простота и безыскусственность пушкинского реализма с беспощадностью гоголевского обличения житейской пошлости. Очень уж не просто определить, в чем именно заключается пушкинская или чеховская простота: сложность разгадать легче. Что такое, например, музыкальность че-

ховской прозы? «Музыкальна» и проза Тургенева — а разве нет своеобразного ритма в прозе Достоевского, которую так долго считали неряшливой, сложенной как попало?

Реализм Чехова — факт столь же достоверный, как то, что Волга впадает в Каспийское море. А однако же один из самых внимательных читателей и тонких ценителей Чехова — А. М. Горький имел основания писать ему в 1900 г.: «Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм и убегаете его скоро на смерть, на долгие». Что следует из этих теперь уже хорошо известных слов? Ясно, что нам надлежит раскрыть чеховский реализм, понять отличие Чехова-реалиста от «реализма» литературы конца XIX в.

Но как раз эту литературу пока что мы знаем весьма приблизительно. Почва, на которой выросло такое изумительное цветение, как чеховская проза, известна нам только «в основных чертах», с птичьего полета. Литература 80—90-х годов — все еще белое пятно на научной карте русской литературы. Восемьдесятые годы! Это Надсон и Гаршин, быстро сходящие, впрочем, со сцены. Это Боборыкин, Мамин-Сибиряк, Короленко. В 80-х годах «разлагаются» народники, свирепствует реакция. В 90-х годах выступают декаденты. Вот почти и все, что обычно говорят о среде, в которой помещается творчество Чехова.

«Восьмидесятые годы не произвели ни одного писателя», — говорил Чехов и говорил, конечно, несправедливо, потому что его-то они произвели. Как же случилось, что эпоха «разброда и уныния», мелкая эпоха произвела такого большого писателя? Грехи этой эпохи всем известны. Толстовское «неделание» и «непротивление злу», закрытие «Отечественных записок», ущемление просвещения, земские начальники, дрожание «премудрого пескаря», философия «вяленой-воблы» — вот характерные черты этого времени. Здесь ли родиться сильной мысли, благородному порыву, большому таланту?

Да, была реакция и сверху и снизу, от правительственных сфер до обывательской гуши. Был кризис народничества. Но ошибкой было бы принимать этот кризис за явление, целиком определившее характер русской культуры 80-х годов.

В статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии», Ленин, полемизируя с Бланком, писал, что «мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов», и в частности поэтому эпоха 80-х годов оказалась богатой событиями большого значения: «... старое русское народничество перестало быть одним мечтательным взглядом в будущее и дало обогатившие русскую общественную мысль исследования экономической действительности России. Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создавая основы социал-демократического мирозерцания» (т. IX, стр. 127).

Могучий толчок, полученный нашей культурой в 60-х годах, необычайное движение в области русской философии, отразившееся и в искусстве полной победой реализма, — все это сохранило свою силу и в так называемых «сумерках» конца века. В 80-е годы продолжали с неослабной энергией работать такие гиганты русской науки, как Тимирязев и Менделеев. Уже обдумывал и писал свои лекции о работе пищеварительных желез И. П. Павлов. С неистощаемой силой творил в области музыкального искусства Римский-Корсаков. Именно в это время одна за другой появлялись картины Репина и Сурикова. Трагичны темы и образы этих картин, но этот трагизм не

гнетет дух, а возбуждает и закаляет его на борьбу. Стоны слышатся в 4-й симфонии Чайковского, но ее фантастический колорит вдруг разрывается в финале светлыми звуками народного празднества. А разве грустные пейзажи Левитана не будят в зрителях чувства теплой любви к родной природе, родной стране — чувства, утверждающего жизнь и зовущего к деятельности?

Так «живой души» в создателях русской культуры не могли задуть никакие тиски реакции. Волно или невольно русские художники этой эпохи, как раньше, отображали настроение народной массы и не только ее горе, но и чаяния лучшего будущего, но и порывы к революционной борьбе, как раз в это время, в 80-х годах, вступавшей в новый знаменательный фазис развития. Вспомним дату — 1883 год: основание первой русской марксистской группы «Освобождение труда». Русская материалистическая философия, уже сказавшая миру свое слово устами Белинского, Герцена, Чернышевского, выдвинула нового замечательного деятеля в лице Г. В. Плеханова. В. И. Ленин, оценивавший, как известно, философские работы Плеханова, как «лучшее во всей международной литературе марксизма», подчеркивал, что самое ценное в его творчестве относится именно к 20-летию — 1883—1903. 80—90-е годы ознаменованы победой марксизма, для которого была расчищена почва всем предыдущим развитием русской философии. Впоследствии выросшее на базе марксизма учение Ленина и Сталина приобрело всемирно-историческое значение.

Немощной и унылой мы не назовем эпоху, в которой бродят и кипят такие животворные соки. Отставала ли литература от общего уровня культуры? В 80-е и 90-е годы Л. Н. Толстой дал произведения, в которых он высказался, может быть, с наибольшей полнотой: достаточно вспомнить «Воскресение». На наших глазах вырастает значение таких авторов, как Мамин-Сибиряк, не говоря о Короленко. Ну, а прочие? Мы привыкли сверху вниз глядеть на всех этих пигмеев вроде Лейкина, Щеглова, Ясинского, даже Альбова, Баранцевича, не говоря о каком-нибудь Вас. Немировиче-Дамченко. Их много: многие из них осуждены и прокляты в свое время критикой «Русской мысли» или «Русского богатства». Но действительно ли сохраняют для нас авторитетную силу приговор Протопопова или даже «самого» Михайловского? Всех этих «проклятых» следовало бы вновь привлечь к суду, уже к суду историко-литературному. Если пересматривают, например, «формуляр» Эрделя, отчего бы не пересмотреть и «формуляр» Боборыкина? Все ли сказано о нем формулой «натурализм в буржуазной литературе», под которой самый плодотворный из русских писателей значится, например, в вузовских программах? Нет, честнее сказать, что история русской литературы 80—90-х годов нашей наукой еще не открыта. Она известна нам, отщепенным от нее не так уж далеко, много меньше, чем, например, пушкинская эпоха.

Если и после пересмотра пигмент останутся пигмеями, нам все же яснее станут те, кого среди них мы признаем великанами, — в том числе и Чехов. Кто исследовал с должной глубиной связь новеллы Чехова с судьбами русской повествовательной прозы 80—90-х годов? Возьмите хотя бы «Бунт Ивана Ивановича» — одного из самых «осужденных», И. Ясинского, или «Юбилей» Альбова и измерьте путь от них к чеховским рассказам. Он окажется много короче, чем путь от Лейкина

к Антоше Чехонте. Многие проблемы уже намечены самим Чеховым, писавшим, например, что его повесть «Три года» внушена отчасти мыслью соперничать с боборыкинским «Перевалом». Поле исследования громадно. Какой заманчивый материал для работы молодого исследователя! Вот где легко сказать новое слово.

Творчество Чехова должно быть приведено в связь с развитием русской прозы, русской драматической литературы конца 70-х, 80-х и 90-х годов. Чехов восторгался «Таманью» Лермонтова, как образцом повествовательного искусства. Чехов высоко ставил Толстого, читал Щедрина, и недаром унтер Пришибеев или учитель Беликов — близкая родня щедринским образам. Но не только великих — массовую литературную продукцию, современную Чехову, нужно знать, если хочешь понять Чехова во всей его конкретности, если в оценке чеховского мастерства не желаешь остаться «импрессионистом».

В литературе 80—90-х годов между разными ее течениями ясно выделяются два. Одно — продолжает традиции общественного служения литературы, продолжает их, однако, часто без прежнего блеска. На одного Короленко приходится десяток «честных», но серых авторов. Другое течение представлено либо «хроникерами», либо развлекающими, не думающими ни о какой гражданской роли искусства. Среди этих двух течений явился Чехов. Почуввав в нем талант, его стали тянуть в разные стороны: он оказался прекрасным сотрудником для Лейкина; Суворин и Буренин гостеприимно открыли ему двери в газету, презираемую даже либералами; народники долго не теряли надежды наставить его на истинный путь; даже декаденты позднее пытались втянуть его в свою компанию. Чехов оказался «в нищих». Он быстро отказался от роли «развлекателя», он не захотел быть «судьей»: «я не либерал, не постепеновец, не монах, не индифферентист...» Но он ненавидит ложь и насилие, ненавидит рутину и деспотизм — «всякий, где бы я в чем бы он ни выражался, все одно — в министерстве внутренних дел или в редакции «Русской мысли».

Эта ненависть к деспотизму придала творчеству Чехова огромную действительную силу. И его произведения послужили делу революционного освобождения, как послужили ему создания великого Л. Н. Толстого.

А вокруг Чехова вырастала школа — ученики, подражатели, продолжатели. Эта школа также никем еще не изучена с точки зрения ее отношения к Чехову, а между тем изучение школы помогло бы лучше понимать и учителя. Вопрос о Чехове и Горьком старой критикой ставился как антитеза: скорбная чайка с одной стороны, — смелый сокол или гордый буреви́ст с другой. Антитеза эта может «придать прелесть разговору» — но ничего не дает для исследования. Мы не называем Горького учеником Чехова, но мы ощущаем явную близость некоторых сторон их искусства. Отношения Чехова и Горького пока изучались более в плане биографическом. А что установлено, например, по части отношения к Чехову его младших сверстников — Бунина, Куприна, Л. Андреева и многочисленных новеллистов 90-х годов, выраставших под непосредственным влиянием и влиянием его мастерства?

Все эти вопросы стоят на очереди — и, вероятно, многие из них уже разрешаются сейчас советскими литературоведами. Посмертная жизнь Чехова не ограничена годами, и ни в каких пределах не замкнута возможность научного познания того замечательного явления истории русской и мировой литературы, которое называется творчеством А. П. Чехова.